А. Л. Никитин

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ

За двести лет, прошедших с момента первой публикации А. И. Мусиным-Пушкиным в 1800 г. «Слова о полку Игореве», количество работ, посвященных отдельным вопросам его лексики, текстологии, исторических реалий и тексту в целом, перевалило за десяток тысяч названий. История его изучения отражена в многочисленных библиографических обзорах, справочниках, словарях и даже специальной энциклопедии «Слова о полку Игореве»[1], а само оно, будучи признано памятником мирового значения, стало обязательным предметом рассмотрения в системе российского школьного образования. В результате, «Слово...» оказало и оказывает огромное влияние как на развитие отечественной поэзии и литературы, так и на развитие исторической и филологической науки в России.

Но вот что примечательно. Предстающая в совокупности имеющихся работ двухвековая история изучения «Слова о полку Игореве» оказывается историей попыток истолкования отдельных фактов, лексем или загадок, с которыми сталкивались те или другие исследователи его текста. Результаты таких толкований бывали порою наивны, порою — остроумны, иногда — весьма убедительны, однако большинство их так и не стали окончательными, потому что они так и не стали звеньями единой системы рассмотрения текста под определенным углом зрения. Знакомясь с многочисленными работами по герменевтике «Слова...», можно видеть, что всякий раз объект исследования оказывался выб-

ран случайно и его исследователь исходил не из рассмотрения проблемы всего текста, а отталкивался от ранее предложенных толкований и конъектур, не пытаясь увязать рассматриваемый им тот или иной частный вопрос с нерешенными проблемами текстологии и фактологии «Слова...» в целом.

Между тем, кардинальными проблемами «слововедения», не получившими удовлетворительного объяснения, до недавнего времени оставались: 1) чередование в тексте ритмически организованных фрагментов (стихов) и прозы; 2) наличие в поэме двух сюжетных пластов, разделенных столетием (сюжеты событий второй половины XI в. и события 1185 г.) и не имеющих между собой логической связи; 3) широкое (при заявленном автором «Слова...» отказе «следовать Бояну») цитирование Бояна и наличие в тексте скрытых или переработанных фрагментов из произведений поэта второй половины XI в., определяемых по наличию метрики, аналогичной той, что присутствует в безусловных цитатах, маркированных именем Бояна; 4) упоминание реалий, не поддающихся удовлетворительному объяснению из контекста, или ситуаций, противоречащих исторической реальности XII в. (первое солнечное затмение, «сон Святослава» и его «истолкование боярами», содержание «плача Ярославны» и др.); 5) выделенная Р. Манном «свадебная обрядовость»[2], прослеживаемая на протяжении всего повествования в образных метафорах, ранее относимых филологами на счет уподобления битвы — пиру в так называемой «дружинной поэзии», единственным известным образцом которой оказывается все то же «Слово о полку Игореве».

Столь же необъяснимыми остаются настойчивые инвективы в адрес половцев, которыми пронизан весь текст «Слова...», призывающие русских князей чуть ли не к «крестовому походу» против «поганых», и это при том, что реальные отношения между половцами и русскими князьями на протяжении всего XII в. характеризуются тесными родственными связями, в результате которых тот же Игорь Святославич по крови был если не на $^2/_3$, то на $^1/_2$ половцем.

Список подобных загадок можно продолжить и детализировать, однако здесь перечислены самые важные моменты, не получившие положительного решения за все двухсотлетнее изуче-

ние древнерусской поэмы, которая позднее стала образцом для «Задонщины» и повлияла на поэтику «Сказания о Мамаевом побоище». Между тем, без решения указанных вопросов, определяющих не только историю текста, но и собственно содержание «Слова...», все остальное, что было сказано по его поводу, предстает лишь более или менее остроумными догадками исследователей. Об этом свидетельствует как устойчивое сохранение в «Слове...» «темных мест», не получивших до сих пор сколько-нибудь убедительного прочтения, так и наблюдающиеся все новые и новые попытки толкования одних и тех же лексéм и фрагментов текста.

Такая неопределенность взглядов на один из самых замечательных памятников древней русской словесности получила свое отражение в двух оценочных подходах к его тексту со стороны исследователей, представляющих две противоположные школы — так называемых «скептиков», пытавшихся доказать подложность древнерусской поэмы, и «защитников», отстаивающих ее безусловную древность.

«Скептики» полагали, что «Слово о полку Игореве» было написано в конце XVIII в. А. И. Мусиным-Пушкиным или ярославским архимандритом Иоилем Быковским, у которого тот купил рукопись. Что же касается самого текста, то он был якобы создан на основе «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище» с использованием различных летописей и памятников русской письменности. Наиболее обстоятельно эта концепция изложена в работах А. А. Зимина, публиковавшихся в различных изданиях в 60-х гг. XX в.[3] и тогда же вполне справедливо подвергнутых уничтожающей критике со стороны «защитников» «Слова...». Собственно, иначе и быть не могло, поскольку задачей Зимина, повторившего тезисы А. Мазона и других своих предшественников о «поддельности» «Слова...», было не изучение имеющегося текста, а возможно более впечатляющая реконструкция хода мысли и работы «поддельщиков», причем историк априорно отказывался от рассмотрения каких-либо аргументов, свидетельствующих в пользу древности поэмы. Другими словами, «скептики» отбрасывали без рассмотрения всю двухвековую работу, проделанную огромной армией исследователей, которая, хотя и оставляла много вопросов, однако неопровержимо свидетельствовала о

древности дошедшего до нас текста и соответствии его основной части языку и реалиям XI–XII вв.

К настоящему времени накопленные аргументы, свидетельствующие о безусловной древности «Слова о полку Игореве», таковы, что сама постановка вопроса в этой плоскости может говорить лишь о некомпетентности его инициатора в истории и филологии Древней Руси. Если же подобные попытки все же имеют место, причем в них оказываются вовлечены такие крупные деятели науки, как А. Мазон и А. А. Зимин, то причиной тому служит позиция «защитников» «Слова...», которые, увлекшись популяризацией и компаративистикой, так и не нашли времени для системного, т. е. собственно научного исследования памятника в целом, что позволило бы определить его место в контексте литературы Древней Руси (а также в системе средневековых литератур Востока и Запада), исходя не из «похожести» сюжетов, а из соответствия «Слова...» структурообразующим принципам той эпохи. Вопрос этот не был поставлен ни Д. С. Лихачевым, чье творчество на протяжении многих десятилетий было связано с популяризацией и толкованием «Слова о полку Игореве», странным образом утверждая «*младенческую неопределенность*» его жанровой формы[4] и уходя от решения типологических и структурных вопросов текста, ни А. Н. Робинсоном, одна из последних работ которого по своему названию была, казалось бы, прямо посвящена рассмотрению этих проблем[5].

Действительно, многочисленные работы историков и филологов, посвященные проблемам лексики, фразеологии и жанра «Слова...»[6], обходили вопросы типологической характеристики, системного анализа, взаимообусловленности составляющих его сюжетов, за которыми только и мог открыться путь к последующему структурному анализу на фразеологическом уровне, а вслед затем и к анализу отдельных лексем и синтагм для выявления их внутренних противоречий, возникших в процессе редактур и переписок текста.

Такая неопределенность общей характеристики текста «Слова...» порождала своего рода замкнутый круг, в котором вращались его исследователи, всякий раз сталкиваясь с одними и теми же загадками и противоречиями, порождаемыми уверенностью в 1) одномоментности создания дошедшего до нас текста «Сло-

ва...» его автором в 1185–1187 гг. и 2) в аутентичности Мусин-Пушкинского списка «тексту 1185 г.», как условно мог быть обозначен его архетип. С другой стороны, такая неопределенность и уклончивость со стороны «защитников» в характеристике текста давали основания для различных сомнений на его счет, питая как «скептиков», так и появившихся в последнее время «культурологов», рассматривавших вполне конкретный, привязанный к определенным историческим событиям текст с самых широких позиций культурологической компаративистики, что позволяло авторам блеснуть эрудицией, но отнюдь не способствовало прояснению конкретных загадок поэмы[7].

Описанная ситуация сохраняется и до сих пор, хотя еще в 1975 г. в докладе на юбилейной конференции в Москве, посвященной 175-летию «Слова о полку Игореве», я показал реальность третьего пути, дающего возможность выйти из заколдованного круга славословий в адрес древнерусской поэмы, чтобы подвергнуть ее научному анализу, используя накопленный к этому времени опыт филологической науки[8]. При этом я полагал, что не существует множества «загадок Слова...», а есть только одна загадка, до сих пор не учитываемая его исследователями, которая и порождает все остальные. Ее можно определить как «загадку Бояна», поскольку именно с его именем связано в «Слове...» обилие явных и скрытых цитат, а также тот пласт исторических сюжетов второй половины XI в., присутствие которых в поэме иначе объясняется разве только произволом автора[9].

Однако «произвол» не может служить научным аргументом, тем более, когда он прослеживается столь систематически, убеждая нас, что здесь мы имеем дело не со случайностью, а с определенной закономерностью средневековой литературы, которая хорошо известна и неоднократно подчеркивалась ее исследователями, в чем легко убедиться, обратившись к авторитету наших крупнейших филологов.

«*Когда те или другие политические или общественные события настраивали древнерусского человека определеннымъ образомъ,* — писал академик В. М. Истрин, — *и онъ чувствовалъ потребность выразить это настроение на бумаге, то далеко не всегда приступалъ онъ къ составлению совершенно нового произведения, но очень часто бралъ соответствующее произведение старое – русское оригинальное или переводное – и обрабаты-*

вал его, прибавляя в него новое содержание и придавая ему новую форму»[10]. С ним вполне был солидарен академик А.С.Орлов, полагавший, что «*проявлению реализма* (в древнерусской литературе. — *А. Н.*) *мешала традиционность русского средневековья, его довольно беззастенчивая плагиатная система, в силу которой позднейший литературный памятник складывался на основании предшествующего в том же литературном жанре. Таким образом, к новой фабуле пересаживались не только слова, но и целые картины, целый ряд фактов, часто без пригонки и композиции»*[11].

В использовании такого центонного принципа при создании произведений древнерусской литературы согласен был со своими коллегами и академик Д. С. Лихачев, неоднократно писавший, что «*заимствования из произведений предшественников являются системой работы*» средневекового автора[12], хотя по каким-то причинам не распространял эту аксиому на текст «Слова...». Впрочем, причина последнего могла лежать в политических установках 30—50-х гг. XX в. в Советской России, когда требовалось подчеркивание «гениальности единственного», все равно, вождя, партии, поэта и т. д.

Между тем, подобное единодушие трех корифеев отечественной филологии позволяет в полной мере распространить данную аксиому и на текст «Слова о полку Игореве», который я считаю безусловно средневековым произведением и, более того, произведением отнюдь не «исключительным», как любил повторять Д. С. Лихачев, а типическим, обладающим всеми признаками современной ему светской литературы Востока и Запада, как это доказывали тот же Д. С. Лихачев, В. П. Адрианова-Перетц или А. Н. Робинсон[13]. Другими словами, наличие в его тексте постоянных упоминаний Бояна, многочисленных и обширных цитат, сохраняющих ритмику поэта XI в. и сюжетов того же времени, дает основание утверждать, что тексты именно этих произведений Бояна, находившиеся в руках поэта конца XII в., послужили основой для создания поэмы, рассказывающей о событиях 1185 г. Естественно, что ни о каком «фольклорном», т. е. «устном влиянии», в данном случае не может быть и речи: здесь налицо прямая цитация текста Бояна и его переработка в соответствии с авторским замыслом.

Тот факт, что такое простое объяснение никому не приходило в голову на протяжении ста семидесяти пяти лет, можно объяснить двумя причинами — наличием в самом начале текста «Слова...» отрицательной формулы «а не по замышлению Бояню», где отрицательная частица «не», появившаяся в значительно более позднее время, относилась не к заимствованному тексту, не к стилю, а именно к замыслу, т. е. сюжету произведения, и, во-вторых, постоянно подчеркиваемой исключительностью поэмы, якобы выпадающей из всех литературных канонов своего времени.

Последнее представляется тем более странным, что вся последующая история письменного бытования текста «Слова о полку Игореве», как она может быть прослежена, повторяла судьбу произведения Бояна, поскольку в XV в. «Слово...» стало образцом и строительным материалом для создания «Задонщины», а позднее, в начале XVI в., повлияло на очередную редакцию «Сказания о Мамаевом побоище» [14]. При этом в ряде случаев было отмечено, что речь идет не о редакции Мусин-Пушкинского списка, восходящего к последней четверти XV в., а о какой-то иной, ему предшествовавшей, чье существование подтверждается наблюдениями Л. П. Жуковской над лексикой и орфографией текста, испытавшего после своего создания в XII в., по мнению лингвиста, по меньшей мере три разновременных переработки [15].

Сказанное означает, что текст «Слова...» несет в себе, как минимум, 1) лексический и сюжетный пласт второй половины XI в. (тексты Бояна), представленный фрагментами метрически организованного текста, 2) лексический и сюжетный пласт событий 1185 г., представленный ритмизованной прозой («авторский» слой) конца XII в., 3 и 4) остатки редакций последующего времени и 5) известную нам окончательную редакцию списка третьей четверти XV в. Такие метаморфозы текста, сохранившего свою видимую цельность при кардинальном изменении его звучания и идеологической направленности, вполне характерны для средневековья, поддерживавшего традиционность не только в качестве некоего залога стабильности бытия, но и из принципа сохранения и приращения культурного богатства человечества, которое, будучи однажды создано или обретено, не должно быть предано забвению или утеряно.

В связи с этим я уверен, что и пласт творчества Бояна, введенный автором «Слова...» в состав «своего» произведения, сохранил не только слова самого Бояна, но и его заимствования у предшественников. К числу таких вероятных реалий и сюжетов предшествующей эпохи следует отнести в первую очередь тот пласт дунайских реминисценций, который связан с именем римского императора Траяна (переосмысленного в полумифическую фигуру), с упоминаниями Дуная, быть может — с готами, и пр. К тому же, если не к еще более отдаленному хронологически пласту восходят, с одной стороны, персонажи славянской мифологии, не имеющие параллелей в текстах XI—XII вв., а с другой — Всеслав, перебегающий путь солнцу, в своем исходном варианте являющийся общеславянским («всеслав») мифическим героем[16] и лишь потом автором «Слова...» или позднейшим редактором отождествленный с полоцким князем, о котором его современник Боян никак не мог писать столь возвышенно и почтительно.

Вряд ли я ошибусь, утверждая, что именно из этого древнейшего пласта Бояном были извлечены образы славянского языческого пантеона, мешающиеся с более древними, индоиранскими (напр., Хорс, соседствующий с Дажьбогом), особенно если принять во внимание его вероятное происхождение, отмеченное в известной купчей, сохранившейся на стене киевской Софии[17]. Обо всем этом я напомнил для того, чтобы показать органичность «корней», питавших текст «Слова...» на протяжении всех тех столетий, когда создавалась, развивалась и претерпевала изменения русская светская литература. Сейчас уже можно утверждать, что свое начало она берет не в XII в., как полагали ранее, и даже не в городской среде второй половины XI в., как то можно было думать, опираясь на тексты Бояна, стоящего рядом с такими своими современниками, как митрополит Иларион и Нестер / Нестор, отождествляемый с «учеником Феодосия». Судя по всему, ее действительные истоки надо искать в X в., если опираться на сведения о катастрофических паводках Днепра середины этого столетия, отмеченные в тексте ПВЛ и нашедшие свое подтверждение в раскопках второй половины XX в. на Подоле в Киеве[18].

Впрочем, исследование этих древностей — дело будущего, в то время как сейчас гораздо важнее определиться с тем, что дает

исследователю «Слова...» необходимость считаться с наличием в его составе текстов Бояна.

Первым следствием такой констатации оказывается «вынесение за скобки» как сюжетов XI в., так и всего комплекса фактов, не находящих себе места в исторической реальности XII в.: «первого затмения» перед походом, предшествовавшего, судя по расчетам астрономов, выступлению из Тмутороканя Романа Святославича[19], упоминания Тмутороканя и всего, с ним связанного, как безусловно чуждого замыслам Игоря Святославича, в том числе и «тмутороканьского блъвана», возвращения «Игоря» на Русь со «сморцами», всех сюжетов, связанных с «морем», безусловно заимствованных из одиссеи Олега Святославича, и т. д. Соответственно, подобный подход открывает перед исследователями возможность в своих дефинициях лексем и «темных мест» исходить не из заданности обязательного их соответствия событиям 1185 г., а из совершенно иных ситуаций, реконструируемых в иной временной реальности, отраженной поэмами Бояна и сведениями независимых источников. Это касается таких лексем и синтагм, как «дъскы», «кнес», «море»[20], «осмомыслъ», «стязи глаголютъ», «шереширы», «время бусово», «дивъ», «блъванъ»[21] и др. Сейчас к этому перечню можно добавить еще два экскурса, связанных с реалиями XI века — «сморцами» и «Гориславличем».

«Идут сморци мьглами». Статью, посвященную лексеме «сморк» (не «сморци»!) О. В. Творогов предваряет знаменательными словами, что переводчики обычно толкуют данную фразу, «исходя из собственных представлений, не всегда оправданных семантикой составляющих ее слов», замечая ниже, что «в определении значения слова “сморк” как “смерч” исследователи едины», хотя «*написание “сморци” смутило Л. П. Якубинского*», отметившего его «*дикость*» с точки зрения лингвистики[22]. Действительно, опираясь на весьма отдаленную параллель в тексте одного из списков Хроники Георгия Амартола, в котором подземные источники сравниваются со смерчами (!?) («**яко сморци некотории испущаться источници**»), но главным образом на пространное объяснение Н. В. Шарлеманя, что здесь подразумеваются смерчи, «*или смoрчи, как их и ныне еще называют кое-где на побережьях наших южных морей*»[23], в литературе установилось именно такое истолкование данного слова, хотя сам О. В. Творогов заклю-

чил свой обзор оговоркой, что «*рассматриваемая фраза... остается во многом неясной*»[24].

В данном случае с Твороговым можно согласиться, потому что объяснения «натуралиста Шарлеманя» как в отношении названия смерчей на юге России, так и подчеркнутого им обстоятельства, что они «*образуются только в жаркое время года, чаще всего веснюю или в начале лета, преимущественно в послеполуденные часы*», тогда как «*в осеннюю пору смерчей не бывает*», или что они «*всегда движутся с моря к берегу*»[25], не соответствует действительности. В последнем я мог не раз убедиться лично, наблюдая возникновение и прохождение смерчей у северо-западных берегов Крыма, причем только осенью и только в утренние часы. Закономерность этого мне подтверждали и местные потомственные рыбаки. Единственное, в чем возможно прав Шарлемань, так это в том, что ночью смерчей никто не наблюдал. Поэтому любая попытка истолкования данного фрагмента «Слова о полку Игореве» с привлечением такого феномена природы, как морские смерчи, в условиях ночи, тумана, мглы, непогоды для описания бегства Игоря из ставки Кончака, находившейся далеко от морского побережья, оказывается совершенно несостоятельной.

В связи с этим правомерно поставить вопрос: можно ли вообще идентифицировать лексему «сморци» в «Слове...» со «сморком», как это сделано не только в ЭСОПИ, но также и в «Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве»[26]?

Несоответствие содержательной части первой половины фразы «**Прысну море полунощи, идут сморци мьглами**» ее второй половине, сообщающей, что таким образом (?) Всевышний указывает путь Игорю «на землю Рускую», заставляет предполагать, что строки эти были заимствованы автором «Слова...» из какого-то произведения Бояна, посвященного Олегу Святославичу, и рисуют картину возвращении русского князя из Византии на Русь. Такое предположение правомерно как по наличию в тексте «Слова...» общепризнанных цитат из произведений Бояна, по наличию постоянных реминисценций по адресу Олега Святославича[27], так и по уместности картины морского бегства «на землю Рускую» именно в связи с этим князем. Не противоречит такое объяснение и общему контексту, начиная от «прысну море полунощи» (все равно, означает ли это определение време-

ни суток или направление на север) и кончая указанием на поддержку Всевышним того, кто двигается указанным путем на Русскую землю — в сумерках, в туманах или просто в непогоду.

Такая замена имени героя, снимая содержательное противоречие рассматриваемой фразы включающему ее контексту, оставляет фактическое противоречие при истолковании «сморцев» — «сморками», поскольку, как справедливо указывал тот же Шарлемань, при наличии тумана, в дождь, в сумерки или ночью смерчи не возникают. Другими словами, «камнем преткновения» в восприятии/толковании данного фрагмента оказываются именно «сморцы», которые традиционно идентифицируются всеми исследователями со словом «смьрчь = съмьрьчь = смрьчь = смерчь», представленным у И. И. Срезневского крайне скудными примерами[28], и обладают способностью самостоятельного движения в неблагоприятных природных условиях («идутъ сморци мьглами»).

Предпринятая мною некогда попытка конъектурного чтения данной фразы, исходя из предположения, что 1) речь идет о бегстве Олега и 2) «сморцы» «Слова...» являются мн. числом слова «смречь», т. е. 'кедр', каковое могло быть таким же названием типа древнерусского судна, как «ёла» или «дубок»[29] (как писал К. Мошинский, «исконно славянское слово *jedla, *jedlь — 'ель' у западных славян изменило свое значение, начав обозначать (...) 'пихту', а ель получила новое наименование *smerkъ»[30]), сейчас может быть пересмотрена в своей второй части, поддающейся более простому переводу и истолкованию. Мнимая сложность определения лексемы «сморци» заключается в том, что, несмотря на упоминание моря в ПВЛ[31] и в «Слове о полку Игореве», причем в тексте последнего в самых разных значениях[32], несмотря на тесную связь жизни и быта древней Руси именно с морем, о чем свидетельствуют договоры с греками, в корпусе древнерусской письменности домонгольского времени практически отсутствуют какие-либо производные от «моря» слова, кроме прилагательного «морьскыи»[33]. Даже самое раннее определение человека, связанного своей жизнью и деятельностью с морем, — «мореходецъ», т. е. 'мореплаватель', 'мореход', зафиксировано в письменности лишь второй половины XVII в.[34], поскольку уникальное определение моряка — «морянинъ»[35] оказывается толь-

ко точным переводом греческого слова θαλάσσιον, так же как и приводимая в словаре Дьяченко со ссылкой на Миклошича лексема «моръnарь»[36].

Естественно, такая ситуация означает отсутствие не соответствующих терминов в практике речевого общения древней Руси, а всего только текстов, отражающих терминологию морского дела и профессии людей, в нем занятых, в первую очередь тех, кого мы теперь называем «моряками» и кто обеспечивал, с одной стороны, регулярные торговые сношения морем между киевской Русью и Византией, а с другой — мог способствовать успешному возвращению из этой же Византии на Русь Олега Святославича.

Вот почему, отказываясь и теперь видеть в «сморцах» древнерусской поэмы «смерчи» или собственно морские суда, я полагаю, что здесь мы сталкиваемся с переосмыслением слова «морци», т. е. моряки' (по образцу: «пешець» — «пешьци»[37], «морець» — «морци»), продолжающего бытовать в русском языке и посейчас в таких сложных словах, как «беломорцы», «черноморцы» и пр. Такое объяснение лексемы «сморци/морцы» не противоречит как описанию природной обстановки (море, ночь, туман) и возможности самостоятельного движения субъекта («идут сморци»), так и отождествлению этих людей со спутниками Олега Святославича в его пути на родину («идутъ морци мьглами»). Последующее приобретение лексемой «морци» начального «с» (если оно не исконное — 'люди с моря') могло произойти как под пером автора «Слова...» в конце XII в., так и позднее, в конце XIV или в XV в., в силу незнакомства переработчика текста с морской обстановкой и, наоборот, знакомства со словом «смерчь», с помощью которого он создал столь впечатляющую картину природы, на протяжении двух веков завораживающую исследователей древнерусской поэмы.

«Тогда при Олзе Гориславличи...» Споры, которые подспудно сопровождают комментарий к «Олегу Гориславличу» «Слова...», начиная с попыток обнаружения князя с таким отчеством и кончая объяснением последнего в качестве уничижительного определения Олега Святославича со стороны его современников, на чем особенно настаивал в своих работах Б. А. Рыбаков[38], основаны, как мне представляется, на недоразумении, в особен-

ности после того, как изучение древнерусской письменности и находки берестяных грамот показали достаточную распространенность такого определения в качестве имени собственного в прошлом[39]. Если же к этому напомнить о бытовании в наши дни как мужского, так и женского имени Горислав/Горислава, то все его толкования в качестве 'горестной славы', 'горькой славы' и пр. оказываются совершенно несостоятельны.

Действительно, зная об изначальной охранительной магии имени, трудно представить, чтобы кто-либо из родителей, нарекая ребенка «Гориславом» или «Гориславой», отважился бы тем самым заранее обрекать его на горе и нужду в последующей жизни. И тот факт, что имя это не табуировано, объясняется совсем другим смыслом, который оно в себе несет, поскольку его определяющая часть обозначает не «горе», как привыкли повторять филологи и историки, а пожелание «горения», высказанное в императиве, что и зафиксировано соответствующими словарями[40]. Об этом можно было догадаться и ранее, обратив внимание всего только на написание этого имени, в корне которого неизменно присутствует не безударное «е», предполагающее ударение на предшествующем «о» («Го̀рислава / Го̀риславлич»), а подударное «и» — «Горислава», «Гориславлич», точно так же как это можно видеть в названии птицы «горихвостка», которую вряд ли кто заподозрит в 'горе с хвостом' («го̀рехвостка»), в названии растения «горицвет» (а не «го̀урецвет»), которое подчеркивает его 'горящий', 'огненный' облик («огонёк»), наконец, в известной «горилке», получившей свое название от способности гореть. Следует отметить, что еще А. С. Орлов, рассматривая происхождение прозвища Рогнеды — «Горислава», в одной из своих работ уже высказал предположение, что оно может толковаться как «*горящая, блистающая славой*», однако тут же почему-то определил эту славу «*горькой*»[41].

Между тем, именно на таком странном, прямо противоречащем законам русского языка основании строится до сих пор многими историками оценка действий как Олега Святославича, так и его внука Игоря Святославича и делаются далеко идущие «оргвыводы». Мне думается, что покончить с этим раз и навсегда можно, только соблюдая законы русской речи и не добавляя в нее тенденциозной отсебятины.

Таким образом, сейчас можно говорить уже не о шести «загадках» текста древнерусской поэмы, поскольку истоки четырех из них лежат во времени, предшествующем созданию «Слова...», а только о двух. Это выявленная Р. Манном «*свадебная обрядовость*» поэмы и предельно выраженная антиполовецкая «фобия» текста «Слова...», причем последняя не находит никакого подтверждения ни в реальной обстановке 1185 г., ни в русско-половецких отношениях XII в., ни в семейных связях семьи Игоря Святославича и всех «ольговичей».

Начнем с первой — с наблюдений Р. Манна, прямо связанных с событиями 1185 г.

Находящаяся в самом начале повествования о походе, сразу же за описанием солнечного затмения, фраза «спала князю умь по хоти, и жалость ему знамение заступи» в известной мере предопределяет все развитие последующих событий в «Слове...», а потому неизменно привлекала к себе внимание исследователей, предпринимавших попытки ее истолкования. Не обращаясь к рассмотрению всех вариантов, главные из которых отмечены в ЭСОПИ[42], отмечу только, что ближе всего к ее правильному чтению (но не истолкованию) подошла Э. Я. Гребнева, реконструировавшая понимание этой фразы И. М. Снегиревым как «*сжигало* (что? — *А. Н.*) *князю ум (мыслями, беспокойством) по супруге... и жалость заслонила ему знамение*»[43], хотя в данной ситуации остается совершенно непонятно, каким образом беспокойство об оставленной в Новгороде Северском или Путивле жене могло заставить Игоря пренебречь знамением и отправиться дальше в степь.

Более того, следует отметить, что лексема «спала» соответствует совершенному виду прошедшего времени глагола «пасть», а не ‘палить, сжигать’, причем указывает на женский род существительного «умь», в свою очередь заставляя видеть здесь не «ум» (т. е. ‘разум’), а «мысль». Если к этому добавить, что лексема «супруга» в данном случае не идентична древнерусскому (древнеславянскому) слову «хоть», эквивалентом которого скорее будет ‘желанная’, ‘любимая’, ‘милая’, наконец, ‘жена’, то первую половину данной фразы правильнее перевести «запала князю мысль (дума) о милой». Только таким образом ее вторая половина оказывается в соответствии с первой, поскольку в ней объясняется,

что «и желание [увидеть ее, встретиться с ней] превозмогло [заступило, заслонило] [зловещие] предзнаменования».

Таков точный смысл фразы, определяющей дальнейшее развитие действия, невозможной по отношению к Игорю Святославичу даже в истолковании Э. Я. Гребневой, поскольку «*беспокоясь об оставленной супруге*», он все же уехал из дома. Поэтому правомерно задать вопрос: а насколько справедливо утверждение, что эта фраза относится к Игорю?

Для сомнений в столь, казалось бы, безусловном факте есть все основания, в первую очередь те, что представлены в самой этой фразе, прямо сообщающей, что желание некоего князя соединиться с женой / милой (т. е. мысль о любимой) заслонило (отодвинуло в сторону) возникшее на его пути к ней препятствие в виде зловещих предзнаменований. Уже эта экспозиция, как можно видеть, исключает из числа таких князей Игоря Святославича, который, наоборот, оставлял свою жену, даже если и мог приложить к ней определение «любимая». В таком же положении находился и Ярослав Святославич со свой «красной Глебовной». Вряд ли эта фраза могла относиться и к Святославу Ольговичу, который родился в 6675/1166 г.[44] и к моменту похода был самостоятельным князем рыльским, т. е. безусловно уже был женат; тем более, что и в жизни и в сюжете он играл второстепенную роль, исключающую возможность вынесения его имени в определяющие строки поэмы.

Таким образом, единственным князем, о котором это могло быть сказано в данной ситуации, остается Владимир Игоревич, сын Игоря Святославича, который не был женат, но уже получил в качестве своего удела пограничный со Степью Путивль, а потому должен был в ближайшее же время жениться, т. к. оба эти события (получение удела и женитьба) в княжеских семьях на Руси совпадали по времени, будучи приурочены к 15-тилетию юноши, как то устанавливают Эклога и Прохирон, а также практика княжеских браков на Руси в это же время[45].

Теперь посмотрим, насколько такой неожиданный вывод, подменяющий привычного героя другим, Игоря — Владимиром, может найти подтверждение в тексте древнерусской поэмы.

Я полагаю, что никто не решится оспаривать тезис о «закольцованности» литературного, а тем более поэтического сюжета

любого средневекового произведения, когда обозначенный в самом ее начале персонаж должен быть упомянут и в заключительных строках. В отношении Владимира Игоревича такое правило в «Слове...» соблюдено, поскольку в его финале «здравица» возглашается не только Игорю и Всеволоду, но и названному полным именем Владимиру Игоревичу, разговорам о свадьбе которого на Кончаковне посвящена почти вся заключительная часть поэмы. Другими словами, «Слово...», согласно литературным канонам средневековья, завершается свадьбой, в данном случае свадьбой молодого путивльского князя и дочери половецкого хана.

Выше я уже писал, что браки в средневековье заключались не скоропалительно, им предшествовали долгие и сложные переговоры между семьями родителей, которые безусловно имели место и в данном случае, так что можно с абсолютной уверенностью утверждать, что женитьба Владимира Игоревича на дочери Кончака была одной из главных причин семейного выезда родственников молодого путивльского княжича в Степь. Об этом же напоминает и статья американского исследователя Р. Манна, заметившего, что древнерусская свадебная символика «красной нитью» проходит по тексту всей древнерусской поэмы.

Таким образом, исходя из наблюдений над финалом поэмы, можно попытаться реконструировать ее начало, где предположительно речь должна была идти в первую очередь о Владимире Игоревиче, а не об Игоре Святославиче. Подтверждение этому можно видеть в уже разобранной фразе о «хоти», но не только. Другим аргументом в пользу такого заключения может служить любопытное наблюдение Б. А. Рыбакова, который в одной из своих популярных статей выделил начальные строки поэмы **«Почнем же, братие, повесть сию от старого Владимера (до нынешняго Игоря)»**, пояснив, что «*имя Игоря сознательно поставлено мною в скобки*», так как оно «*или вставлено позднее, или неудачно перемещено*»[46]. Оставляя в стороне причины, по которым Рыбаков полагал последующие строки первоначально не относившимися к Игорю, я так же считаю, что имя Игоря на этом месте не изначально: оно находится в неправомерной оппозиции к указанному здесь «Владимиру», поскольку предваряющие их эпите-

ты «старый» и «нынешний» требуют обязательного в таком случае тождества имен.

Другими словами, здесь прослеживается ситуация, когда автор противопоставлял двух «Владимиров» — прежнего и теперешнего, — причем последний был назван не по имени, а по отчеству — «до нынешнего Игоревича», так как это больше отвечало поэтике и ритмике фразы. Позднее, при переделке поэмы, «Игоревич» был переделан в «Игоря», что нарушило метрику, однако позволило заменить ничем не примечательного князя его отцом, деяния которого летопись подробно описывала на протяжении четверти века.

Эти наблюдения подкрепляют высказанное мною ранее предположение об исходном сюжете поэмы о событиях 1185 г., поводом для которых стала женитьба новоиспеченного путивльского князя Владимира Игоревича, отправившегося за своей будущей женой в Степь[47] и в силу этого естественного желания пренебрегшего недвусмысленным небесным знамением.

При учете всех этих фактов наблюдения Р. Манна играют роль замкового камня в своде, подтверждая исторические выводы филологическими, фольклорными и этнографическими аргументами. Другими словами, как я писал не раз, первоначальный замысел автора «Слова...» состоял в том, чтобы рассказать о перипетиях свадебной поездки молодого «Ольговича» в Степь за женой, результатом чего стал не только новый русско-половецкий брак, но и замирение между Русью и Степью на несколько последующих лет, что и подтверждается летописными данными. Это была поэма о любви и о мире со знамениями, схватками, неожиданными препятствиями и счастливым концом, полная страстей и героики, как этого требовали читатели того времени. И в этом отношении «Слово...» оказывается действительно типичным произведением феодального средневековья от берегов Атлантики до островов Тихого океана[48].

Следовательно, последний вопрос или последняя основополагающая загадка «Слова о полку Игореве» сводится к тому, когда его текст потерял все эти черты и приобрел совершенно новые — конфронтацию со Степью, явную враждебность к половцам, замену Владимира Игоревича его отцом и, главное, настойчивые

призывы к русским князьям поспешить на Дон: «**Дон ти, княже, кличетъ и зоветь князи на победу!**»

В этом плане особенный интерес для исследователя представляют две остающиеся не известными нам редакции (3 и 4) текста «Слова...», филологически обоснованные Л. П. Жуковской, одна из которых (скорее всего, 4-я) должна была иметь место в конце XIV или в первой четверти XV в., после Куликовской битвы, будучи прямым на нее откликом. Основание для такого заключения я вижу: 1) в настойчивом «педалировании» темы Дона, который не играл и не мог играть никакой роли в событиях 1185 г.; 2) в изображении «железных полков половецких», составлявших основу ордынского войска; 3) в той действительной опасности, которую представляли в этом новом своем качестве половцы, превратившиеся к концу XIV в. из ближайших родственников русских князей в их непримиримых противников; 4) в акцентировании их «поганства», которое может объясняться только принятием основной массой половцев к этому времени мусульманства, тогда как их предки, донские («дикие», т. е. независимые от киевских князей) половцы, в первую очередь, их аристократия (Шаруканиды), судя по всему, уже в середине XII в. были христианами; наконец, 5) в том влиянии, какое «Слово...», будучи переработано после Куликовской битвы, оказало на рассказ Ипатьевской летописи о походе Игоря, маркировав его такими лексемами конца XIV в., как «черные люди» и «отроци боярские», и введя «уряжение полков» на берегу Сюурлия, что оказывается в вопиющем противоречии с началом рассказа, где речь идет только о «дружине» Игоря.[49]

Вероятно, последующие исследователи смогут более точно выяснить не только количество редакций интересующего нас текста, но и провести определенную работу по его расслоению, следуя хронологии изменений. Однако главным в предлагаемой мною концепции является подход к тексту «Слова о полку Игореве» как к типичному средневековому произведению с долгой рукописной традицией, отразившейся как на тексте, так и на его содержании. Последнее обстоятельство не только снимает все основные (структурные) загадки поэмы, но и позволяет исследовать ее текст так же, как происходит исследование любого памятника средневековья, содержащего, кроме первоначальной

основы, еще и многочисленные добавления, переработки, осмысления, в этом своем виде становясь базой для создания совершенно нового произведения, в котором оказываются естественно инкрустированы фрагменты разновременных произведений, использованных последовательной цепью авторов и редакторов.

До сих пор это применялось только по отношению к произведениям, следующим по времени за «Словом...», чьи тексты напрямую зависели от его текста – по отношению к «Задонщине» и «Сказанию о Мамаевом побоище». Что касается самого «Слова...», то оно неизменно провозглашалось «вершиной» при столь же неизменном отрицании каких-либо предшественников у его автора, как если бы древнерусская поэма в своем совершенстве могла возникнуть сразу и на пустом месте. Более того, реакция многих специалистов-филологов на изложенные в моих работах положения убеждает меня, что они просто не понимают о чем, собственно, идет речь, поскольку у нас до сих пор законы становления и развития средневековой литературы обычно рассматриваются в отрыве от самих текстов и наоборот. Последнее, как я уже говорил, можно отчетливо наблюдать на примере «Слова о полку Игореве», когда один из основных законов формирования средневекового произведения – зависимость «авторского текста» от текста его предшественников – ни разу не был даже упомянут теми его исследователями, которые в остальных случаях достаточно широко использовали его в своих трудах.

Вот почему я посчитал необходимым еще раз напомнить о существовании третьей, аргументированной точки зрения на важнейший памятник отечественной истории и литературы, каким является «Слово о полку Игореве», чтобы возможно доступнее объяснить необходимость применения изложенных выше принципов исследования в практике его научного анализа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1–6 / Сост. В. Л. Виноградова. М.; Л., 1965–1984; *Булахов М. Г.* «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке. Мн., 1989; Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1–5. СПб., 1995 (далее – ЭСОПИ).

[2] *Манн Р.* Свадебные мотивы в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 38. Л., 1985. С. 514–519.

[3] *Зимин А. А.* Когда было написано «Слово»? // Вопр. литературы. 1967. № 3. С. 135—152. Подробная библиография публикаций историка по этому вопросу приведена в ЭСОПИ. Т. 2. СПб., 1995. С. 225.

[4] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы // *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 15—16.

[5] *Робинсон А. Н.* Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI—XIII вв.: Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980.

[6] Напр., из последних по времени: *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968; *Колесов В. В.* Ударение в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 31. Л., 1976. С. 23—76.

[7] Примером одной из наиболее ярких работ последнего направления является книга А. А. Гогешвили: Три источника «Слова о полку Игореве»: Исследование. М., 1999.

[8] «Слово о полку Игореве»: К 175-летию первого издания: Конференция в Москве // Вестник АН СССР. 1976. № 3. С. 91; Научная конференция, посвященная 175-летию первого издания «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978. С. 303—304.

[9] *Никитин А. Л.* Наследие Бояна в «Слове о полку Игореве»: Сон Святослава // «Слово о полку Игореве»: Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978. С. 112—133.

[10] *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы. Пг., 1922. С. 57.

[11] *Орлов А. С.* К изучению средневековья в русской литературе // Памяти П. Н. Саккулина: Сб. ст. М., 1931. С. 192.

[12] *Лихачев Д. С.* Текстология: Краткий курс. М.; Л., 1964. С. 62; *Он же.* Текстология на материале русской литературы X—XVII веков. Л., 1983. С. 45 и др.

[13] На самом деле, между «Словом о полку Игореве» и такими устными произведениями европейского Средневековья, как «Песнь о Роланде», «Песнь о моем Сиде» или «Жеста о Гильоме Оранжском», с которыми его обычно сравнивают, нет ничего общего ни в сюжете, ни в содержании, ни в структуре, ни в жанре.

[14] Наиболее подробно вопросы эти рассмотрены в: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966.

[15] *Жуковская Л. П.* О редакциях, издании 1800 г. и датировке списка «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985. С. 68—125.

[16] *Никитин А. Л., Филипповский Г. Ю.* Хтонические мотивы в легенде о Всеславе Полоцком // «Слово о полку Игореве»: Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978. С. 141—147.

[17] *Никитин А. Л.* О купчей на «землю Бояню» // *Никитин А. Л.* Основания русской истории. М., 2001. С. 389—404.

[18] *Гупало К. Н.* Подол в древнем Киеве. Киев, 1982. С. 7—32.

[19] *Святский Д.* Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. Пг., 1915. С. 12.

[20] *Никитин А. Л.* Наследие Бояна в «Слове о полку Игореве»: Сон Святослава // *Никитин А. Л.* «Слово о полку Игореве»: Тексты. События. Люди. М., 1998. С. 32—52.

[21] *Никитин А. Л.* К вопросу стратификации «Слова о полку Игореве» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 1. М., 1989. С. 135—187.

[22] ЭСОПИ. Т. 5. СПб., 1995. С. 13.

[23] *Шарлемань Н. В.* Заметки натуралиста к «Слову о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 8. М.; Л., 1951. С. 54.

[24] ЭСОПИ. Т. 5. СПб., 1995. С. 14—15.

[25] *Шарлемань Н. В.* Заметки натуралиста... С. 54.

[26] Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 5. Л., 1978. С. 180.

[27] См., напр.: *Соловьев А. В.* Восемь заметок к «Слову о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 20. М.; Л., 1964. С. 377—378.

[28] *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 3. СПб., 1903. Стб. 449—450.

[29] *Никитин А. Л.* Наследие Бояна в «Слове о полку Игореве»: Сон Святослава... С. 129.

[30] Цит. по: *Филин Ф. П.* Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.

[31] *Творогов О. В.* Лексический состав «Повести временных лет». Киев, 1984. С. 82, 171, 195.

[32] *Никитин А. Л.* Наследие Бояна...С. 128.

[33] *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря... Т. 2. М., 1895. Стб. 176; *Дьяченко Г.* Полный церковно-славянский словарь. М., 1899. С. 317.

[34] Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 9. М., 1982. Стб. 264.

[35] *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря... Т. 2. М., 1895. Стб. 176.

[36] *Дьяченко Г.* Полный церковно-славянский словарь... С. 317.

[37] *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 2. СПб., 1895. Стб. 1792.

[38] *Рыбаков Б. А.* «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971.

[39] Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1. М.; Л., 1965. С. 169; ЭСОПИ. Т. 2. СПб., 1995. С. 47—48; *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1977—1983 годов. М., 1986. С. 271.

[40] Напр.: *Петровский Н. А.* Словарь русских личных имен. М., 1966. С. 90.

[41] *Орлов А. С.* Слово о полку Игореве. М.; Л., 1946. С. 108.

[42] ЭСОПИ. Т. 5. СПб., 1995. С. 190–193.

[43] *Гребнева Э. Я.* «Слова запутаны» (к пониманию фразы «Спала князю умь...» в «Слове о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 114.

[44] ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 526.

[45] Как указывал И. Е. Забелин, исходя из статей Прохирона, по византийским законам совершеннолетие для мужчин наступало в 14 лет, для женщин – в 12 лет (*Забелин И. Е.* Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетии. М., 1901. С. 85). Согласно же установлениям Эклоги, брачный возраст для мужчин начинался с 15 лет, для женщин – с 13 лет (Эклога: Византийский законодательный свод VIII века. М., 1965. С. 44–45). Судя по тому, что в 1187 г. Ростислав Рюрикович, которому в это время уже исполнилось 15 лет, был повенчан с Верхуславой Всеволодовной, которой исполнилось всего восемь лет (Ипатьевская летопись. Стб. 658), браки на Руси могли заключаться для женщин и ранее, если только в данном случае речь идет о бракосочетании, а не о обручении, которое, согласно Эклоге, могло иметь место начиная с семи лет.

[46] *Рыбаков Б. А.* Историческая канва «Слова о полку Игореве»: «Старый Владимир» // Наука и жизнь. 1986. № 10. С. 103.

[47] Подробнее см.: *Никитин А. Л.* По следам князя Игоря // «Слово о полку Игореве»: Тексты. События. Люди. С. 331–348.

[48] *Никитин А. Л.* О подвигах, о славе... о любви? // *Никитин А. Л.* Слово о полку Игореве: Тексты. События. Люди...С. 158–169; *Он же.* По следам князя Игоря // Там же. С. 331–348.

[49] См.: *Никитин А. Л.* Датирующие реалии Ипатьевской летописи о походе 1185 г. на половцев // *Никитин А. Л.* Основания русской истории. С. 456–482.